

Георгий Владимов

Не обращайтесь
вниманья,
маэстро



Георгий Владимов

Не обращайтесь
вниманья,
маэстро

Рассказ для Генриха Бёлля

ПОСЕВ

Обложка А. Русака

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG, 1983
Frankfurt a. M.
Printed in Germany

Они пришли в понедельник утром, сразу после восьми. То есть, сначала шагнул в квартиру мордастый — лет сорока пяти, невысоконый такой, упитанный, с волнистым коком над лбом и космочками волос за ушами; круглые щечки румянились, а рот лоснился, как будто он только что поел торта, глазки поблескивали весело.

— А мы к вам, — сказал он. Хотя какое же было сомнение, что именно к нам.

И сразу их стало трое. Появился еще долговязый — помоложе, с утомленным лицом и рыбьими неподвижными глазами, — и совсем молодая дама в джинсовом платье с погончиками, которая вошла плечом вперед и скромно стала у притолоки. Она сразу меня поразила — странной бледностью щек, потупленным взором, длинными белыми прядями, стекающими из-под синего беретика, надетого набекрень, как у десантников. А когда мы смотрели в глазок и потом через цепочку, то был всего один — мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил он папу. — Пройдете все в ту комнату.

— В какую в „ту“? — спросил мой папа, начиная пугаться и от этого ужасно раздражаясь. — И кто вы такие, позвольте узнать?

— А вот это, — сказал мордастый, — раньше надо было спрашивать. А то вы открываете так беспечно. Знаете, сколько сейчас всяких разных по квартирам шныряют?

И действительно, всегда спрашиваем: „Кто?“, а тут — не могу даже объяснить, почему, — не спросили.

Долговязый прикрыл спокойно дверь и проверил два раза, как действует замок. Молодая дама в беретике, ни слова не говоря, двинулась плечом вперед по коридору, прямо к моей комнате, неся за собою на отлете серый чемоданчик с патефонными застежками. Мордастый взял папу под локоть и весело подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, мне вам ее показать?

Долговязый надвинулся на меня, спрашивая своим замораживающим взглядом, долго ли я еще буду не понимать, в чем дело. И я повернулся и пошел вслед за папой, чуть не отдавливая ему пятки, а долговязый — вплотную за мной. Одну руку ему, как я успел заметить, оттягивала толстая, черной кожи, сумка, в другой — как будто ничего не было, но мне вспомнились увлекательные фильмы, где бьют ребром ладони пониже уха, и в этом месте у меня сильно заныло.

В дверях нашей большой комнаты, где живут папа и мама, мордастый призадержался.

— Анна Рувимовна, вас тоже попрошу с нами. Звонить собираетесь? Положите трубочку. Положите.

Мама вышла в халате, прямая и несколько бледная, со сжатым ртом. Долговязый сперва замыкал шествие, а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стояла уже у окна, в скульптурной позе — красиво подбоченясь, опи-

раясь на одну ногу, а другую обольстительно отставив в сторону и слегка пошевеливая туфелькой. Она куда-то смотрела пристально сквозь тюлевую занавеску и сказала, не оборачиваясь:

— Хозяин — дома. В том же положении.

Мордастый подошел к ней, заложив за спину короткие ручки, и тоже посмотрел.

— А куда он мог деться? Сегодня у него никаких свиданий не назначено.

Вошел долговязый — со своей сумкой и с нашим телефоном, расправляя шнур ногою, уселся на мой диван-кровать, еще расстеленный, и поставил аппарат себе на колени. В ту же секунду он зазвонил.

— Валера? — сказал в трубку долговязый. — Да, все в порядке. Переходи к метро.

Он положил трубку и уставился на мордастого вопросительно.

— Матвей, — спросила мама печальным голосом, — ты мне можешь сказать, чего хотят от нас эти люди? Может быть, им нужны деньги? Так пусть скажут...

— Аня, тут что-то другое, — сказал папа, досадливо морщась. — Успокойся, пожалуйста. Они нам сейчас все-все скажут.

Мордастый, усмехаясь, отошел от окна и стал в центре комнаты, под плафоном.

— Значит, так. С вашего разрешения, мы тут у вас поселимся. Вам уж придется уплотниться, ничего не попишешь. В эту комнату — не входить, тут у нас будет... неважно что, вам до этого нет дела. Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать — приехали родственники. — Он поглядел на папино лицо, потом на лицо долговязого. — Дальние, конечно. Про которых вы даже и забыли, что они есть.

— И надолго приехали родственники? — спросила мама.

Мордастый в улыбке показал два золотых моста, сделанных в очень хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей не спрашивают. Но, конечно, по полгода тоже не гостят. К окнам старайтесь подходить не часто, занавески лучше не отодвигать. Телефоном можете пользоваться, как всегда. Если будут спрашивать Колю — трубочку сразу ему.

— А как будут спрашивать родственницу? — спросил я, уже почувствовав облегчение. Мне захотелось узнать имя пленившей меня дамы.

— Ее? — Мордастый перевел улыбчивый взгляд с меня на даму и обратно. — А ее не будут спрашивать.

— Позвольте все-таки выяснить, — спросил папа, еще не остыв от раздражения, — а книжечка у вас имеется?

— Матвей Григорьевич, — сказал мордастый с легким укором, — мы вам почему-то больше доверяем. Смотрите, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном шнурке, точно крестик. Он развернул ее на секунду и снова упрятал куда-то за галстук. Мы ничего не успели прочесть, но папа тоже почувствовал облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто-то другой, как я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Интересует нас один человек — в доме напротив.

— Он что, скрывается от правосудия?

— Папа, — сказал я, — ты все еще не понял? Им нужен этот писатель, — я постарался сказать небрежно, — у которого отключили телефон.

— Отключили? — спросил мордастый. — Откуда вам известно, что отключили?

— У которого испортился телефон, — сказал папа с нажимом в голосе, не поворачиваясь ко мне.

Я увидел, как шея у него вытянулась и порозовела, и согласился:

— Пусть будет „испортился“.

Тем более, что и сам наказанный так отвечал. Знали истину оба наших кооперативных дома, знали бабушки, сидящие в беседке и на лавочках у подъездов, знали даже дети, играющие в песочницах, что телефон у нашей несчастной знаменитости отключен *пожизненно*, и этот номер, 144-47-21, передан каким-то другим людям, которые вам ответят, что прежний абонент выехал навсегда за рубеж, а могут и ответить — что умер... Но кому-нибудь непременно хотелось выяснить „из первых рук“, что за нарушение было Устава связи — куда-нибудь он не туда звонил, или ему звонили откуда не следует? — и он, отводя смущенно глаза, что-то бормотал, что все некогда вызвать монтера со станции, и вообще ему без телефона даже лучше, спокойнее.

— Вы с ним общаетесь? — спросил мордастый. — Они с долговязым внимательно, выжидающе смотрели на папу.

— Ну, если можно назвать общением, что мы перекинемся двумя словами... о погоде, или он задаст какой-нибудь вопрос... технического порядка, — у папы от смущения одно плечо поднялось к уху, — да, общаемся. Как-никак, соседи. Но если есть такая необходимость, чтоб я воздержался на какое-то время...

— Зачем же, — сказал мордастый. — Такой необходимости нет. Даже было бы желательно, чтоб вы продолжали общаться, как ни в чем не бывало. Я бы вам дал тогда соответствующие инструкции.

Папа оглянулся на маму. Она опустила голову и разглядывала паркет.

— Ну, как желаете, — подождав, сказал мордастый. — Главное, чтоб нигде ни слова. Понимаете, что вам доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.

— Да, конечно, конечно.

Я подошел к даме, все так же пристально наблюдавшей за теми тремя окнами — прямехонько против наших, на верхнем, пятом, этаже, — и слегка отвел занавеску.

— Я же только что предупреждал, — сказал мордастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и я пока еще находился в моей комнате, поэтому к нему и не повернулся.

— Что-нибудь он опять натворил? — спросил я даму. — Выступил с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно, из-под опущенных наполовину век, затем ее взгляд переместился куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько задержался на чем-то ниже пояса и ушел в сторону. Больше ее взгляд не останавливался на мне никогда.

Неторопливым округлым движением она сняла свой десантный беретик и положила на журнальный столик, рядом с двумя папками моей диссертации, едва удостоив вниманием гордое ее заглавие: „Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах”.

— Столик мне подойдет, — сказала она, ни к кому, собственно, не обращаясь. — А это они уберут.

— Ну-с, мне пора, — сказал мордастый.

Мы с папой провожали его до дверей. Проходя коридором, мимо стеллажа, он задержался как раз против полки, где у меня... Ну, вы сами понимаете, что у меня там могло стоять, обернутое белой калькой, еле прозрачной, так что можно и не заметить,

но при желании — кое-что интересное прочитать на корешках. Новейший Аксенов, Фазиль в полном виде, первая часть „Чонкина”, „Верный Руслан”, Липкина „Воля” и кой-какой Бердяев, „Зияющие высоты”, три-четыре журнала. Не могу не сказать — золотая полочка, чуть не каждая из этих духовных ценностей обошлась мне в пол-стоимости джинсов.

— Зачем это держать? — спросил мордастый с укором во взгляде.

Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с таким же выражением.

— А если мне-е... — Я отчего-то заблеял. — Если это нужно мне для работы?

— Не нужно вам для работы, — сказал мордастый уверенно (и впрочем, со знанием дела). — Незачем голову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив руку за борт пиджака, задрав голову, отставив ногу, вылитый „маленький капрал”, которому ужасно хочется в Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть. Они нам только мешают, а ничего не дают для понимания.

— Да? Это интересно. Какие же этапы?

— Вы сами знаете, какие.

О, этот их прелестный пуленепробиваемый ответ! „Вы сами знаете”. Супруга нашего визави, как мне рассказывал папа, все-таки пошла — тайком от мужа — выяснять, за что им отключили телефон. „Вы сами знаете, за что” — „Но в чем выразилось наше нарушение?” — „Вы сами знаете, в чем”. Что они — языка лишились? Почему не смеют назвать? Значит — ведают, что творят?

— Но Бонапарт, — сказал я, — все-таки дал бы команду, что надлежит забыть, а о чем помнить.

Мордастый этого просто не услышал.

— Александр! — сказал папа, вдруг опять раздражаясь. — Я же тебе *говорил тогда*: „Выбрось эту сомнительную литературу”. И ты же со мной *соглашался*, что она сомнительная. А почему-то держишь на самом виду.

— Вот именно, — подхватил мордастый. — Кто-нибудь почитать попросит — вы ж ему не откажете? А это уже будет считаться — „распространение”.

Покачив голову, уничтожив меня долгим взглядом, он вышел на лестницу.

— Родственников не обижайте, — пошутил он с серьезным видом. — А сынок у вас, хоть и тридцать два года, а очень еще незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, которого на первый случай избавили от розг.

— Он задумается, — сказал папа. — Я, наконец, сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока ничего не видел.

Мама нас встретила в коридоре, держа в обнимку, как бочку, мою свернутую постель.

— Где у нас раскладушка? Достаньте мне ее немедленно.

— Где-то в кладовке, — сказал папа. — Но, Аня, сейчас только девять утра.

— Я должна заранее позаботиться о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он ютился, как бедный сирота. Он должен где-то отдыхать и иметь уединение для работы.

— Хорошо, где ты хочешь чтоб он имел уединение?

— В кухне, — сказала мама. — Кухня — это моя территория. Если вы свою кому-то уступили, то я уступать не намерена ни пяди. Только своему сыну. Кровать будет стоять в кухне все время.

— Но может быть, людям захочется сварить себе кофе или я не знаю, что.

— Ничего, — сказала мама. — Захочется — переохочется.

— Аня! — Папа очень страдал оттого, что дверь в мою комнату осталась полуоткрытой. — Но ты посуди: где мы сами будем есть? Где ты будешь готовить?

— Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю? Так же не будет. Ты нам не позволишь питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпуклый животик, на его напряженное, почти несчастное лицо — красное, под белым встопорщенным ежиком, — и на то, как он нервно теребит подтяжки, и сразу устала держать в обнимку постель.

— Возьми же у меня, долго я буду так стоять? Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, как всегда, а потом мы с тобой пойдем гулять и там, на воздухе, все обсудим. Как нам дальше строить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — глухо отвечал папа из кладовки. — Нам же объяснили, что все — временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться дома.

— Ни в коем случае, — сказала мама. — Я тебя вытащу обязательно. Ты очень взбудоражен, это может кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — спросил папа, задвигая шпингалет. — Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у Саши сегодня библиотечный день. Мы же не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?

— А никак, — раздался из моей комнаты голос долговязого.

— Что вы? — Папа подошел к двери. Заглянуть туда он почему-то не решался.

— С ключами — как устраивались до сих пор, так и дальше.

— Но у нас только два комплекта. Вдруг вам понадобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.

— Да, но кто же вам потом откроет?

— Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей Григорьевич, против лома — нет приема.

Папа к нам повернулся очень сконфуженный. Мама посмотрела на него почти брезгливо, но промолчала.

В эту ночь мне неплохо спалось на новом месте. Полагаю, что и Коля долговязый был не в обиде на мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяснилось, на кухню родственники наши не претендовали вовсе, зато мою комнату не оставляли без присмотра. Из квартиры они уходили по очереди и входили без звонка; у меня было впечатление, что замок сам собою отпирается при их приближении. В семь утра Коля разбудил меня, когда прошел в ванную в трусах и в майке и шумно там плескался и фыркал, напевая довольно неплохим баритоном: „Капррызная, упрямая, вы сотканы из роз. Я старше вас, дитя мое, своих стыжусь я слез”. Как скажут, это любимая песня нашего генсека, а вовсе не „Малая земля”. Не знаю, у Коли я спросить не решился. Выходя, он заботливо осведомился у меня: „Как спалось?” и удалился, не дожидаясь ответа. Маму потом волновало, каким полотенцем он утирался и вытер ли за собой на полу (у нас, вы знаете, хорошо протекает вниз к соседям). Насчет полотенца не знаю, но что прибрал все аккуратно, могу свидетельствовать.

В следующую ночь было дежурство моей десант-

ницы — и как жестка показалась мне раскладушка! Только представить себе — в моей комнате, в каких-нибудь пяти шагах от меня, на моем законном ложе, — раскинулось (лучше даже — „разметалось“) прелестное таинственное существо, неприступно гордое и для меня пока безымянное, а на моих стульях разбросаны в милом беспорядке неизъяснимо чудесные одеяния и покровы! Странно, никакие эти пышные словеса — „покровы“, „одеяния“, „ложе“, — не приходили мне на ум и на язык при обстоятельствах вполне реальных, с моей долголетней невестой Диной, — которая, впрочем, давно уже не невеста мне, а жительница города Бостона, штат Массачусетс, США. Гордая и неприступная занимала ванную с восемью и предпочитала душ. Я слушал, как хлещут шипучие струи, с разными оттенками шума — оттого, что сначала одна, потом другая прелести подставлялись для омовения, — и, кажется, начинал постигать смысл затрепанного поэтического образа: я хотел бы быть этими струями, которым позволено... и т. д. Когда она выходила, освеженная, встряхивая длинными прядями и застегивая на груди свое джинсовое платье с погончиками, я как-то не осмелился обратиться к ней — хоть с тем же самым: „Как спалось?“, — а только пытался поймать ее взгляд, но, как я уже сказал вам, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже перекочевали на кухню — и, право, обнаружилось даже некоторое удобство — что можно, не отрываясь от стола, заваривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои библиотечные дни старики могли побыть дома, и мама могла приготовить обед, а в остальные — они уходили на долгие свои прогулки — включающие,

естественно, стояние в очередях, — и я мог поработать над моими тамильскими преданиями. Однако ж, поработать — это сильно сказано, вы не знаете, что такое наша квартира. Когда-то нам очень нравилось, что наш кооператив — самый дешевый в Москве, теперь эта наша „пониженная звукоизоляция” мне выходила боком. Из любой точки нашей квартиры слышен неумолимый ход времени, отбиваемый папиными часами, — о, вы не знаете, что такое папины часы. У него их накопилось штук тридцать: луковицы, каретные будильники, нагрудные — в виде лорнета — и даже знаменитый, воспетый Пушкиным, „недремлющий Брегет”, ходики с кукушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда бегают глаза; часы, которые держит над головою голенькая эфиопка, и часы, на которые облокотились полуодетые Амур и Психея; часы корабельные — с красными секторами, и часы, охраняемые бульдогом. Кое-что досталось папе в наследство, остальное он прикупал, когда еще прилично зарабатывал в своем конструкторском бюро, а в последние годы, на пенсии, он собирал уже просто рухлядь, которую выбрасывали или продавали за символический рубль, и возился с ней месяцами, пока не возвращал к жизни. Все это богатство каждые полчаса о себе напоминало боем, звяканьем, диньканьем, блямканьем и урчанием — притом, не одновременно, а в замысловатой очередности. Один Бог знал, которые из них поближе к истинному времени, — его все равно узнавали по телефону, — да папа к точности и не стремился, наоборот — соревнование в скорости тоже составляло для него очарование хобби, и по этой причине останавливать их не позволялось. Мы с мамой давно притерпелись ко всей этой папиной музыке, даже перестали замечать; просто, в последние дни слух у меня бо-

лезненно обострился — от звуков иных, непривычных.

— Валера! — слышался Колин металлический баритон. Против обещания, телефон они надолго забирали к себе — как они объясняли, „чтоб вам же не мешать”. — Спишь там? А бельгиец-то — прошел... Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.

— С Ивоннкой, — подсказывала моя десантница.

— Точно, с супругой. Уж десять минут как, а ты не сообщаем... „Не успел”, пиво небось глотал... Где машину оставили?.. Дверцы хорошо заперли, стекла подняли? А то ведь на нас потом свалят... На сиденье ничего не лежит?.. Кукла? Ну, это детишкам своим. Прямо, значит, из „Березки”... Это и мы заметили, что с пакетом. Поглядим — с чем выйдут... Ну, иди, глотай свое пиво, только о работе не забывай.

Ненадолго воцарялась там тишина, но мне уже было не до моей бедной диссертации. Мне слышались — или чудились — кошащие мурлыканье, смешки, шлепки по телу, в общем подозрительная возня. В эти минуты — кто сказал бы мне? — стояла ли она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, лежала? Я чувствовал себя спокойнее, когда они заводили мой магнитофон, и Коля с воодушевлением подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
Не убиррайте ладони со лба!..

— Поставь лучше Высоцкого, — просила дама капризно и томно. — Ты же знаешь, я Высоцкого люблю неимоверно!

— Много ты понимаешь! Булат же на порядок выше.

— Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему, — голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую мое сердце ревностью к обоим бардам. — А Высоцкий — это моя слабость.

— И как ты его любишь? — спрашивал Коля игриво.

— Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке. Просто, он весь меня трогает сексуально.

— Но-но, я па-прашу не выражаться! — Колин голос певуче взвизывался и тотчас, без перехода, исторгался низким рокотом:

Моцарт отечество не выбиррает,
Просто, итрррает всю жизнь напrrролет!

— Погоди, Моцарт, — в голосе ее слышалась насмешка, но почти любовная. — Моцарт мой милый, ты про общественные поручения не забыл?

— Когда Коля чего забывал? Просят — всегда сделаю. Но только — после обеда. Сегодня у нас кто первый по плану? Дочкин просил „Железную леди” побеспокоить. Но она просит — до двух ей не звонить. Не могу даме не уступить.

С часу до двух они, по очереди, удалялись обедать — наверно, в хорошее место, поскольку успевали там же и отовариться; по приходе он сообщал ей: „В заказах икра сегодня красненькая, я четыре банки взял, а куда больше?” Или — она ему: „Сегодня ветчина югославская — видишь, в удобной расфасовке, ты б тоже взял, жена мне спасибо скажет”.

После обеда следовал звонок от Валеры — о замеченных изменениях, затем Коля-Моцарт — как я его мысленно прозвал, вслед за моей дамой, — приступал к общественным поручениям:

— Алё, можно Лидию Корнеевну?.. Ваш почита-

тель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам конверты перепутали? Но письма-то — дошли. Не ошибается тот, кто ничего не делает... Как это так — не делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам жить пока не мешаем. Воздухом — дышите? Дачку еще пока не отобрали?..

Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижался, говорил озабоченно, с явной теплотой:

— Голос у нее сегодня чего-то усталый. Спит плохо, мысли невеселые. Да, ей много пережить пришлось...

— А всей стране — легче было? — возражала дама.

— За всю страну болеть — это Колиной головы не хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну болит... Алё, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто говорит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто ж тебе, Натуля, еще звонить может? Большому кораблю — большое плаванье... Чего звоню? Удивлен я, Натуля, безобразным поведением твоего сожителя... А надолго ли он тебе муж? Я так думаю — не надолго. Ты уже могла убедиться, на примере некоторых твоих друзей, что за подобные штучки, что он вытворяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, не образумишь своего красавца — будем вместе скорбеть о безвременной потере кормильца... Алё, куда ты там делаешь? Телефон, небось, бегала замерять? Давай, замеряй. Делать тебе не хрена, Натуля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мятой ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швыряла трубку, и Коля это объяснял не без той же заботливой теплоты:

— Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счет было свое мнение:

— А потому что все девочку из себя строит. А уже за сорок давно-о...

Коля-Моцарт уже набирал другой номер.

— Але, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, тетеря глухая?!.. Бросай ты эти дела богословские, ты ж все равно не докажешь, что Бог есть, а в психушку — сядешь... Да не, из какого там „кей-джи-би“, все тебе „кей-джи-би“ снится. Просто, твой почитатель тайный, хочу тебя предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься — лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он про тебя говорит в обществе? Вот у меня тут специально записано. Что все твои писания — вторичны... Вторичны! Сколько тебе повторять, уши прочисти! И нет, говорит, у него центральной идеи, поэтому в статьях — драматургии не чувствуется... Да не у него, а у тебя. ...Ну, не знаю, какой. Центральной нету... Драматургия? Ну, значит, должна быть, раз говорят, что у тебя не чувствуется. Вот так. Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.

— Не поверил, но — огорчился.

— Хорошо у тебя получается! Лучше всех в отделе.

— Выматываюсь потому что, всю душу вкладываю. Ну, на сегодня хватит.

Тем временем главный объект наблюдения тоже заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, считает и складывает отпечатанные листки, потом стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши окна — и не видя их, точно смотрит куда-то в туманную перспективу. Если б я даже подал ему знак (какой, не подскажете?), он бы его не заметил. Как мне было ему посоветовать, чтоб он хоть завесил окно? В сущности, это ребячество, без которо-

го можно обойтись, — эта его привычка поглядывать время от времени, отрываясь от своих писаний, на зелень, на верхушки кленов, ив, тополей. Я понимаю, он сам их когда-то сажал — больше, чем кто другой, — и ему, наверно, любопытно смотреть, как они вытянулись и разрастаются с каждым летом, подошли уже к пятому этажу. Его это, наверно, вдохновляет — но надо же учесть и 12-этажник, что стоит наискосок, оттуда в сильную оптику можно, пожалуй, и прочесть, что он там пишет. Или он думает, что если сам он в чужие дела не лезет, так и другим нет дела до него? Но когда он, по своему расписанию, спускается во двор и бродит между домами, кому-то названивая из разных автоматов, не может же он не чувствовать на себе десятки взглядов — любопытствующих, осуждающих, а то даже испепеляющих, — ведь отчего-то он каменеет лицом, проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быстрее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в беседках, и все детишки в песочницах, и даже собаки — в соответствии с настроением хозяев — натягивают поводки в его сторону. Такой вот микроклимат в нашем микрорайоне. Все ведь знают: с тех пор, как его исключили из Союза писателей, к нему исправно каждые три месяца является участковый и снимает допрос, на какие средства он живет, а однажды у всех на виду нашу знаменитость вывели под руки и, усадив в желто-голубой „москвич” с синим фонарем на крыше, повезли в отделение — за два квартала, откуда он, правда, вернулся через час пешком.

С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяемся, и я тогда спросил у него:

— Что, выселять будут — как тунеядца?

— Тунеядец-то он тунеядец, — сказал дядя Жора с досадой, разглядывая носок сапога, — да у него

книжки печатаются — в Америке, в Англии, в Швейцарии и хрен знает где еще. Кроме как у нас. Сигналы на него поступают, а как на них реагировать? Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень-то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.

— Весь ваш район трудный. И чего я из Коминтерновского сюда перевелся? Хотя там тоже писателей этих — до едреной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу — с детства. И я помню, как этот наш тунеедец был некогда в большой моде, его печатали в „Новом мире“, и по его сценариям снимались фильмы, и вот в той самой квартирке пел громоподобно, услаждая весь двор, покойный теперь артист Урбанский. Тогдашняя восходящая кинозвезда Л. Л. привозила дорогого автора со съемок на своей машине, и оба наших дома наблюдали, как она ему на прощанье протягивает цветы. И эти старушки, бывшие еще только зрелыми дамами, помогали его автографа. Да все, кто теперь воротит от него лицо, старались попасться ему на глаза, удостоиться пятиминутного разговора.

Я не знаю толком, что такое случилось с ним — да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к молодым, любили целое поколение, которое почему-то называлось „четвертым“, и он входил в эту плеяду, „надежду молодой литературы“, считался в ней „одним из виднейших“. Потом у всей плеяды что-то не заладилось с их новыми книгами, не так у них стало получаться, как от них ждали, к тому же они имели глупость „нехорошо выступать“ и что-то не то подписывать и до того довыступались и доподписывались, что их начали выкорчевывать всем поколением сразу. Теперь и не прочтешь нигде, что было такое — „четвертое“, а плеяда рассея-

лась по всему свету, остались только те, кому удалось сохранить любовь к себе, — и вот такие, как он, двое или трое, которым, как говорят, „терять уже нечего”. Да, все почему-то не получается у нас — оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик Толя, семилет, которому он заметил, что нехорошо царапать гвоздем чужую машину, может ему ответить с достоинством хозяина жизни: „А вы тут вообще на птичьих правах”.

Впрочем, еще один персонаж осмеливается говорить о его статусе во всеуслышание — наша районная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полгода, ей приходит пора ложиться в психушку, а врачи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: „А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он за mine по „Голосу Америки” заступится!” Вот два полюса его невероятного положения: и „на птичьих правах”, и можно — когда все исчерпано — ему пожаловаться, и он — „заступится”. Так говорят семилетний и юродивая, но и мы, взрослые, нормальные, знаем: и то, и другое — правда. А может быть, все это, непостижимое, не с ним случилось, а с нами? Может быть, он остался каким был всегда, а мы переменились вместе со временем? Что же с нами, со всеми, произошло? Те самые люди, что по вечерам припадают к транзисторам и ловят, сквозь ревы глушилок, сообщения о нем или куски из его последней книжки, — растят детей, которые выучились смотреть ему вслед насмешливо и вытаскивать из его ящика письма, чтобы порвать и бросить на лестнице. Да, впрочем, и пишут ему как будто все реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя люди компетентные — как наш сосед, бывший дипломат в Норвегии или в Дании, славный тем, что провалил в этой стране всю нашу разведку, — говорят,

что наоборот, пишут со всех концов страны и из других стран, но всю корреспонденцию забирает на почте особый человек по „доверенности номер один”...

А теперь, кажется, подступились к нему вплотную — и как мне его предупредить? Можно дожидаться, когда он вынесет свою мусорную корзину, с обрывками черновиков, и подоспеть со своим ведром, и тут, над контейнером, под шорох вытряхиваемого содержимого, сказать потихоньку. А он мне — поверит? Не сочтет за провокатора, которому как раз и поручили воздействовать на него психически? Он помнит, конечно, как я по его книгам писал дипломную „Об использовании бытового и производственного жаргона в произведениях имярек” и донимал его расспросами, но помнит он и другое — все мы переменялись, и каждый мог стать кем угодно.

Пожалуй, я бы все-таки решился, но этот таинственный Валера... Чёрт бы его побрал! Где он прячется? Откуда следит? Может быть, он изображает алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, опохмеляется пивом „из горла”? Или на лавочке обжимается с подружкой, тоже топтуньей? Или стоит на углу с газетой, свернутой в трубку? — вон даже махнул кому-то, знак подает. А может, он как раз уминает мусор в контейнере, а между тем собирает эти самые обрывки? Я даже такой странный разговор слышал — между Колей и дамой: „Кто у нас сегодня *Валерой*? Вроде бы, Дергачев со Жмачкиным?” — „Не со Жмачкиным, — отвечала она, — а с этим... новеньким, Ларьковым”. — „То-то, я слышу, голос какой-то не родной...” Так он, этот Валера — не один? Так их — двое? А может, их даже пятеро или шестеро, а только двое звонят? Нет, я не осмелюсь. У меня — диссертация, и через

полгода — защита. С опозданием на семь лет, после моего жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которого нашему строю ни горячо, ни холодно, и за которой можно как-то пересидеть — если не рыпаться. У меня папа и мама, которым эти мои тамильские предания и пракриты только потому не кажутся чепухой собачьей, что они привыкли уважать всякое чужое дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нем понимают. Могу я, по-вашему, разрушить их надежды? Смею ли рассчитывать на их не-генеральские пенсии или на то, что папа, в крайнем случае, продаст свою коллекцию? Ну и наконец, вот что... Положа руку на сердце, строго между нами, как на духу. Ведь когда он становился за черту, он тоже не смел рассчитывать, что кто-то за него станет подкладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он их уж слишком разозлил — иначе б не стали тут держать пост, это все-таки дорогое удовольствие. И почему же кто-то другой должен разделить его грехи, или ошибки, к тому же — беззащитный, о котором никакой „Голос”, никакая „Волна” и никакое там „Би-Би-Си” словечка не скажут? Не знаю, не знаю.

Покуда я размышлял таким манером, писатель уже возвращался из своих странствий, я опять видел его в окне, и возвращались с прогулки мои старики. Мы обедали в кухне — и, в основном, молчали. Я отчего-то догадывался — или читал по их лицам, — что для своих прогулок в лесопарке они выбирали такие дорожки, сидели на таких лавочках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже теоретически невозможно.

Ровнехонько в пять звонил в дверь мордастый,

отвешивал молча головой поклон и направлялся к моей комнате.

— Ну-с, как успехи?

Докладывал Коля-Моцарт, моя дама вставляла отдельные поправки. Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими:

— Четвертую главу закончили, слава Богу. С этой главой были трудности — наверно, придется кой-чего перебелять. Пока начали перепечатку пятой. Да над финалом тоже надо покорпеть.

— Ну, это уже, небось, готово, — говорил компетентно мордастый. — Хорошие писатели финал пишут заранее.

— Еще будет предисловие к зарубежному читателю, — уточняла дама. — Но пока только наброски.

— Ну, что ж, — говорил мордастый довольным голосом, и я почти видел, как он потирает руки или бьет кулачком в ладонь, — числу к тридцатому, пожалуй, запремся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои манускрипты переснимает на пленку, и делает это в ванной.

— Запас пленки готов, — сообщала дама, — „Микрат-300”.

— Молодец, хорошую пленку достает! — хвалил мордастый. — Узнать бы, с какого объекта ему тащат, да задать тому деятелю по загривку — за соучастие. Ну, уж ладно, конец — делу венец. Готовимся, значит, к операции „передача”? — Мы в кухне, замерев, слушали его булькающий смехок. — А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не устоит?

— В каком смысле? — спрашивал Коля-Моцарт.

— Договор заключит без промедления. В прошлый раз — сколько тянули! Что-нибудь года четыре?

— С половиной, — уточняла дама.

— Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не выдержала, не говоря об итальянцах...

— Ну, итальянцы — те что ни попадя переводят, — вставляла дама.

— А эти-то долго, англичане, держались. Ух, привередливые! Но с тех пор-то мы — выросли! С прошлой книжечкой не сравнишь, романище мирового класса. Если мы тогда на аванс в две тысячи фунтов согласились не глядя, так теперь и с четырьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуемся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и больше с них содрать. — Слышалась искренняя гордость возросшим талантом наблюдаемого и затем — вздох почти горестный. — Да-да... И почему я романы не пишу? Все — статеечки, статеечки на злобу дня.

— Кто-то же должен и на злобу, — успокаивал Коля. — Вы не менее важное делаете.

Мордастый, однако ж, на лесть был не падок — и коротко перебивал:

— Бельгиец был?

— Час проговорили, — отвечивал Коля. — Мы едва успели кассету сменить.

— Что-нибудь вынес?

— Отчетливо сказать нельзя.

— А какая у нас техника? — жаловалась дама. — Одно мучение!..

— Да, и этот чёрт берет так, что не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передает. Вот бы кого по-крупному опорочить!

— А Хельсинки? — спрашивал Коля с ехидцей. — За письма его ж не выдворишь.

— Что Хельсинки! Его на иконах надо подловить. Большой любитель старины! Кто еще был?

— Из посольства Франции — на машине с флажком.

— Один шофер или кто поважнее?

— Шофер.

— Ну, это он приглашение привозил — на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял, французы — они осторожные. Кто еще?

— Ахмадулина приезжала на метро.

— Беллочка? — оживлялся мордастый и опять вздыхал печально. — Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в темном царстве. О чем говорили?

— Хозяйина не застала, с женой говорили полчаса. Все — насчет приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.

— Ясно. Стихи новые почитаем. И выпьем, конечно, — самую малость!

— Сапожки не модные у нее, — вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства. — Наши таких сто лет не носят. И шапочка — старенькая.

— Так ведь когда у нее Париж-то был! Лет пять назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б современные, от Диора.

Чёрт бы побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина — и я прозевал ее. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю ее книжку для автографа, не высказал, что я о ней думаю. А если и правда, что „поэт в России — больше, чем поэт“, то, может быть, наше безвременье все-таки назовут когда-нибудь временем — ее временем, а нас, выпавших из летоисчисления, ее современниками? Но про меня — кто это установит, где будет записано. Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону — лишь договариваемся о встрече, а встретясь — киваем на стены и потолки, все важное — пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжи-

гаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они — даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливает, петляя, „раскидывая чернуху”, неутомимые эти труженики, ревнивые следопыты, проделывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю — по крохам, по шепоткам, по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг — при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктирные нити наших судеб. Мы что-то могли потерять — у них ничего не потеряется! Все будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, — и прошу у тебя прощения! Когда все это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь востребовать по простому абонементу, ты мог бы — выбеги я к подъезду! — услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съемку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивленно, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь покрепче держать в руках. И поскольку возникло бы подозрение, что я через нее предупредил наблюдаемого, ты нашел бы в этой папке все обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты б тогда составил полную картину, что же собою представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.

— Даю оперативку, — прерывал мои размышле-

ния мордастый. — Вечером у хозяина слет ожидается, надо полагать — с водочкой.

— Три поллитры куплено „Старомосковской”, — подтверждал Коля-Моцарт. — Валера фиксировал.

— Будет кой-кто из диссидентуры, — мордастый называл имена, которые можно услышать по радио, то есть когда-то было можно, покуда эти поляки не вынудили нас глушить „вражеские голоса”. — Привезут, конечно, „документы” на подпись... Ну, это не наша забота. А вот проследить насчет рукописей. Есть сообщения, что двое молодых собираются прийти, из „Союза независимых”, или как они там себя называют? Что-нибудь почитают, наверно, вслух, а если толстое — то и оставят.

— Так чего с этим делать? — спрашивал Коля.

— Фиксировать, больше ничего. Пока никаких указаний не поступало. Наш объект — хозяин. И — каналы, каналы!

Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою „золотую полочку”, где уже, как вы понимаете, никаких „Зияющих высот” не было, зияла — пуста.

— Сынок ваш взрослеет, — как-то сказал он на прощанье папе, желая доставить приятное. — И в целом мы вами довольны.

— А мы вами — нет, — отвечал папа — впрочем, когда дверь за мордастым закрылась.

С моими стариками определенно что-то происходило. Они все больше мрачнели. Папа охладел заметно к своей коллекции, забывал протирать ее тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять часы с места на место, даже заводить забывал — и вскоре иные вовсе умолкли, динькали и блямкали только те, что с недельным заводом; он все реже шикал на маму, а мама все меньше стеснялась нашей „пониженной звукоизоляции”.

— Ты знаешь, Матвей, что я решила?

— Что ты решила?

— Нам надо купить цейссовский артиллерийский бинокль. Я видела в фотомагазине — за девятью шестью рублями.

— Зачем? У нас есть бинокль.

— Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский дает восьмикратное увеличение.

— Зачем нам восьмикратное увеличение?

— Ты не понимаешь? Я хочу во всем участвовать.

Это слово — „участвовать” — она теперь часто произносила, к месту или не к месту. Звала ли ее соседка занять очередь за сардельками — она отвечала: „Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать”; собирались ли подписи на выселение буйного алкоголика, художника К., в молодости сталинского лауреата, — „Я подумаю, надо ли мне участвовать”; складывались ли по трешке на ремонт и покраску скамеек — „Считайте, что я в этом участвую”.

— В чем ты хочешь участвовать? — спрашивал папа унылым голосом.

— Во всем! Я потратила свою молодость на субботники и воскресники, увлекалась поэзией бесплатного труда, но, оказывается, есть такое бесплатное удовольствие — не считая, конечно, стоимости бинокля, — заглядывать в чужие квартиры, в чужие окна... я не знаю, в замочные скважины. Я чувствую, как я от этого молодею!

— Аня, прошу тебя — тише.

— Почему — тише? Я хочу — громче! Я хочу слышать, что делается в чужих постелях, о чем говорят любовники в антрактах или муж с женой. Ты не видал объявлений — где-нибудь можно купить по сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я понимаю, в государственных магазинах нам не продадут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, ее

делают — и не хуже, чем у японцев. Но начнем с артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом помешался, теперь же самое модное занятие — подслушивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая шлепанцами, уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойнтер на охотничьей стойке, глядя своими черными, расширившимися глазами в окно, слушала, как он там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, открывает банку растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала ему, не выдержав. — И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не позволю.

— Я не понимаю! — взрывался папа. — Кому из нас было плохо с сердцем?

Мама переводила взгляд на меня, — он был теперь вопрошающим, сострадательным и вместе неуловимо разочарованным, — кусала губы, отчего горестно искажалось ее красивое еще, иконописное лицо, и отвечала едва слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.

В мои библиотечные дни, занимаясь в „Ленинке” с утра до вечера, я все же приезжал на метро к обеду. Так требовала мама, и так нам всем было дешевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать обратно, и все мои дневные траты — четыре пятака, не считая сигарет.

Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял голову и увидел, что папа ждет меня наверху, на мосту, перекинутом через нашу наземную станцию и который отчасти служит ей крышей. Я настолько не привык видеть папу на улице одного, без мамы, что сердце у меня подпрыгнуло.

— Успокойся, пожалуйста, — сказал папа, хотя я ни о чем не спросил. — Мама просто прилегла от-

дохнуть. Так что обед у нас будет попозже. Мы с тобой пока перекусим в „Багратионе”.

Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой Филевской. Я помню, лет шесть мы ждали его открытия — и были поражены, как быстро, в первую же неделю, установился в нем запах захудалой столовки, этот омерзительный и сложного состава аромат увядшей капусты, перекаленного жира, лежащей рыбы и такого же мяса, вдобавок еще блевотины и скандала. Никто „порядочный” сюда не ходил, да и сейчас заходят изредка — прежняя слава еще не рассеялась. Когда уже махнули рукой на наше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошел последний его заведующий, он же и бармен, коренастый армянин, большеголовый и без шеи. Он сначала приезжал на метро, но вскоре стал ездить на красной „Ладе”, попозже — на „бамбуковой”, теперь — на белой, — но, надо признаться, не без заслуг: деньги и материалы, им же и выбитые на капитальный ремонт, он потратил с толком. Он оборудовал импортный бар в углу, стены обшил панелями темного дерева и шоколадной кожей, установил разноцветные светильники, каждый столик заключил в отдельную кабинку, отгороженную высокими, резного дерева, переборками. Он, наконец, вышиб к чёртовой матери „музыкальный ансамбль”, этих наших „песняров”, длинноволосых и наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрустированными электрогитарами, с притопами и прихлопами, с идиотскими „ла-да-да”, — и заменил их довольно несложным ящиком, из которого полилась негромкая и совсем недурная музыка. Оказалось, и невыветриваемый брезготный дух — выветривается, при некотором напряжении ума и сил можно его вытеснить амброзией шашлыка с тмином, кинзой и эстрагоном. Много может сделать

человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник же он — без конца доставать хорошую баранину.

Весь путь до „Багратиона” папа не проронил слова, только подозрительно оглядывался. В жаркий день на нем был его приличный костюм цвета маренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с глухим воротом и галстук, повязанный толстым узлом. Во всем облике моего старика чувствовалась не понятная мне, но отчаянная решимость.

Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя немного их было занято в глубине зала, и никто бы нам особенно не мешал: в одной гудела компания азербайджанцев, в другой — лопотали по-французски четверо негров, наверно, — из „Лумумбы”, еще в двух-трех сидели парочки, премного занятые друг другом, а здесь нас мучило солнце и донимал уличный шум. Но папа так решил, и я не стал возражать.

Официантки нам, ясное дело, не светило скоро дожждаться, но сам заведующий, он же бармен, не торопясь, вышел нас обслужить. Он принес нам по шашлыку на овальных никелированных тарелочках, подстелив под них синие бумажные салфетки, побрызгал из одной бутылки чем-то винно-красным, из другой — бледно-желтым, посыпал из руки жемчужными полуколечками лука и пахучим зеленым крошечком. Руками же преломил надвое лепешку лаваша. Было в этом что-то милое, домашнее. Папа его попросил завести музыку. Он молча кивнул и удалился за свою стойку.

Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, приступив наконец к шашлыку, спросил:

— Ты понял, кто у нас поселился?

— О, да! На этот счет у меня никаких сомнений.

— Так ты-таки ничего не понял!

Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщинами, с тонким хищным носом и ястребиными, табачного цвета, округлившимися глазами, — лицо Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а откуда-нибудь из Бердичева, — и задышал на меня барашком, кинзой и луком.

— Мы с мамой давно уже догадались. Уголовники. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а — международного класса. Уверю тебя, их наверняка разыскивает Интерпол.

Я отшатнулся.

— Папа, что ты говоришь? Они, прежде всего, русские.

— Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе показали фитюльку — и то на одну секунду. Дай мне сигарету, пожалуйста, мама не почувствует, что я курил... Да? Ну, и что — что русские? Почерк у них — явно, международный. Ты слышал, как они шантажируют по телефону каких-то людей, в особенности — женщин? По чужому телефону! И ты не почувствовал, что это какой-то условный шифр? Это же так ясно. Это их жертвы! Как я думаю, они послали этим людям подметные письма с требованием — положить в определенное место такую-то сумму, но те почему-то не поддались на провокации, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они угрожают? „Тебе, падло, по земле не ходить”. И ты меня станешь уверять, что они — *оттуда*? — Папа, с брезгливой гримасой, помотал вилкой. — Нет-ет! Там себе такого не позволяют. Там серьезное государственное учреждение. Там, конечно, не ангелы служат, у них свои „но”, не будем говорить здесь... Но на такие штуки там не идут!

— Да почему ты думаешь? Почему мы все ду-

маем, что есть какие-то штуки, на которые они не пойдут?

— Я знаю, — сказал папа, для вящей убедительности закрыв глаза. — Я знаю, если говорю.

— Но у них же... аппаратура.

Странно, это было единственное, что я нашел возразить.

— Хо-хо! — сказал папа. — Достать аппаратуру — это теперь не такая проблема. Наверняка ее где-нибудь делают подпольно — и не хуже, чем у японцев.

Я услышал совершенно мамины интонации.

— Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж они хотят от нашего визави?

Глаза у папы, кажется, стали еще круглее, седой ежик пополз на лоб.

— Ты еще не догадался? Они и его хотят ограбить, только — в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции. А если переведут на английский и на испанский, тогда он — просто миллионер. С их точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, чтоб тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать: „Отдадим, но при условии — положите знную сумму в такой-то банк”. Или просто продадут каким-нибудь пиратам из желтой прессы. Мы себе даже не представляем, какие у них возможности, связи во всем мире. И ведь он перед ними совершенно беззащитен. Он же — вне закона! Ты это-то понял?

Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще любитель гипотез, в особенности — фантастических, от которых у собеседника иной раз уши вянут, — а ведь, казалось бы, человек точного знания, инженер, не я — с моим индуизмом и теорией „других

рождений". Но даже если и правда это — не может же быть, чтоб там об этом не знали, не были б даже рады, если бы с нашим „отщепенцем" что-нибудь этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с нашими пулеметами соваться в политику! У меня даже заныло под ложечкой.

— Ты считаешь, мы его должны предупредить? — спросил я. — Скажу тебе честно — я боюсь.

— Ты мой сын, — сказал папа, — поэтому ты боишься. И поэтому говоришь об этом честно.

— В конце концов, кто он нам, и кто мы ему?

— А вот это уже — нечестно. — Папа смотрел на меня скорбно, и мне было трудно выдержать его взгляд. — Ты знаешь ответ на свой вопрос. Мы ему — читатели. А он нам — собеседник. Он же к нам обращается! А мы — затыкаем уши.

— Ты можешь мне сказать, почему он не уезжает? Столько людей мечтает вырваться — и не могут, а от него бы избавились с дорогой душой. Неужели ему не хочется мир повидать — Венецию, Лондон, Париж?..

— И заплатить за свое любопытство — родиной? — спросил папа. И, не дождавшись моего ответа, покачал головой. — Я поздравляю тебя, Александр. Ты хоть и поздний наш ребенок и с поздним развитием, но вырос настоящим советским человеком, я могу только гордиться. Ты научился решать за других — кому ехать, кому не ехать. Но что делать, если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя сейчас покинуть Россию. И как бы ты отнесся, если б действительно он уехал? Совсем равнодушно?

Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, но что-то, наверно, сдвинулось бы тогда хоть в нашем микромире — и не в лучшую сторону. Он стал нашей экзотической достопримечательностью, для

многих не лишенной приятности. Приятно ведь знать, что кому-то живется еще труднее. У меня, например, это так. И я бы, наверно, бросил в него камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не выдержать!

— Но ему было столько предупреждений! — Я возражал скорее не папе, а себе. — Начать с телефона, с почты, с того, что машину нельзя оставить, чтоб дверцы не вскрыли, не порезали покрышки, не залили б какую-нибудь дрянь в бензобак. И допросов ему хватило, и слежки по пятам. Что еще ждать? Обыска? Чтоб взяли архив, переписку, книги, рукописи?..*

— Это предупреждения? — сказал папа. — Это жизнь. Да, которую он себе выбрал. Он писатель, он это предвидел, он свою страну немножко знает. В этом отношении — „все системы корабля работают нормально”. А вот они, наши „родственники”, — папа все гнул свою гипотезу, — это уже не нормально.

Не назвал бы я нашего соседа таким уж провидцем насчет родной страны, случалось ему и открытия совершать, лишь для него одного неожиданные. Я помню, лет десять назад, когда он был еще *официальным* писателем (интересно, в каком другом удивительном мире есть писатели официальные и неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома елочки — штук семьдесят, если не больше. Он возил их откуда-то из лесу, километров за сорок, на своем, теперь уже состарившемся, „москвиче” — по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие комья земли. Все эти елочки прижились и тронулись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, что он не зря потрудился для общества. Перед каж-

* Примечание рассказчика: после описываемых событий был и обыск.

дым Новым годом по ночам визжали ножовки — ведь у нас такой прекрасный, человечный обычай: елочка в доме под Рождество — и желательно не из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семидесяти остались одни колья, с полуосыпавшимися боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. А ведь его предупреждали — но он отвечал: „Видите ли, я стараюсь так не думать”. Как же было не понять еще тогда, что мы — больная страна, больная неизлечимо. Если б я мог покинуть ее — и только вспоминать, как страшный сон!

Но мне не выдержать того, что выдержала слабая женщина, Дина. Не пережить мне того, холодящего сердце, состояния невесомости, которое называется „быть в подаче” или „в отказе”, не собрать всех этих идиотских справок, не имеющих отношения ни к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сожгут эти взгляды служебных сук, исполненные патристического презрения и лютой зависти: „Есть шанс вырваться? А мы — чтоб тут оставались?” Она прошла по этим горящим угольям, и я сейчас вижу ее такую, какой она улетала из Шереметьева — когда она вышла, всего на несколько секунд, на знаменитый „балкончик прощания”, растерзанная после нательного обыска, вся красная и в слезах, и сказала мне сверху каким-то рваным бесцветным голосом, — каким, наверное, произносит свои первые слова зверски изнасилованная: „Теперь ты, Саша... Через год — там... Я буду ждать...” Я стоял в окружении топтунов, которыми кишмя кишит провожающая толпа, но не только поэтому не ответил ей, просто — не знал, что обещать. Скрипку ее, довольно ценную, провезти не удалось, — но, кажется, ей такая и не понадобится в Бостоне, США, с концертами у нее пока не выходит, она дает уроки музыки и этим зарабатывает столько, что „двум

нашим семьям, — как она пишет, — с голоду умереть невозможно”. Первые письма от нее полны были эйфории, она желала успеха моей диссертации и заверяла, что здесь то, чем я занимаюсь, будет иметь вес — побольше, нежели там, — но полтора года прошло, и все больше стало сквозить грусти и раздражения — оттого, что меня, по-видимому, не дожидаться; в последних — она скучает по Москве и „даже по всей нашей мрази”, а о том, что ждет, уже ни слова. Может быть, если б вышло с концертами, и не было бы причин для тоски.

— Он мог бы писать свои книги, — сказал я, — хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы преуспел. А результат был бы тот же — тысяча экземпляров на всю Россию.

— Наверное, мог бы, — сказал папа. — Но я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живет не на Азорских островах. Поэтому, — закончил он неожиданно, со своей причудливой логикой, — мы отсюда пойдём в милицию. В оперативный отдел.

У меня еще сильнее заныло под ложечкой.

— Прямо сейчас?

— Можно не сразу, — легко согласился папа. — Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. С вишенкой.

Мы покончили с шашлыками и пересели на высокие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает нам „шампань-коблер”, папа вдруг спросил:

— Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?

— Я не из Еревана, — ответил бармен. — Я из Нахичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не уезжал.

— Как это? — спросил я, довольно глупо.

— Я могу завтра туда поехать. Значит — я там живу.

— Видишь! — сказал мне папа, подняв палец. — В этом вся суть.

Все же и после коктейльчиков, которых мы заказали по два, ноги не очень-то нас несли — к желтому флигельку бывшей усадьбы Огаревых, которая высится над крутым лесистым спуском к Москвереке и куда, как гласит история, Герцен посылал своего слугу с записками к другу. По дороге я спросил папу:

— А что по этому поводу посоветовала мама?

— Мама? Ничего не посоветовала. Только сказала: „Я не желаю участвовать во всем этом дерьме”.

— Так и сказала?

— Кажется, даже немножко резче.

И вот мы пришли и сели перед большим столом, за которым — вполоборота к нам и глядя в окно — сидел массивный майор в светло-серой рубашке и темно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными запышенными, с пухлым лицом, с заплывшими глазками, — то ли монгольский божок, то ли Будда, то ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. Окно было настежь распахнуто, но забрано решеткой из толстых прутьев, расходящихся веером из нижнего угла. На лужайке перед окном четверо младших чинов дрессировали своих собак — огромных черноспинных и черномордых тварей, с пегими лапищами и нежно-бежевыми пушистыми животами, — учили их, как правильно нюхать тряпку и совершать круг, перед тем как рвануться по следу. Майор, развалившись на стуле, держа одну руку в кармане, а другую на столе, внимательно наблюдал за учениями, но, кажется, так же внимательно слушал, что ему втолковывал папа, потому что один раз, к месту, перебил недовольно:

— Как это вы говорите — „вне закона”? Закон на

всех распространяется. По крайней мере, у нас в районе. Ну, продолжайте.

Раза два он взглянул на папу с видимым интересом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит чистопородный „ариец”, русско-татарских кровей, на пожилого еврея. Похоже, мы скрасили ему дежурство всей этой фантазмагорией. Но я ждал, когда нас все-таки попросят за дверь.

— Однако, это еще не все, — вдруг сказал папа. — Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказывают друг другу! Разумеется, низкопробные и, я бы сказал, с очень нехорошим политическим душком.

Бог мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донес, ни разу даже не пожаловался!

— Скажу прямо — махрово антисоветские.

Майор повернулся к нам и налег жирной грудью на стол. Опора власти горела желанием — послушать хороший махровый анекдотец с нехорошим политическим душком.

— А ну, ну! Поглядим, что за дым.

— Про нашу милицию, — сказал папа. — Но я не хотел бы здесь...

— Про милицию? — в глазках майора зажглось что-то зеленое, как у кота, когда он смотрит на птичку. — Ничего, давайте, а где ж их еще рассказывать?

— Значит, один — такой. Подходит пьяный к милиционеру: „Дай ушко, я тебе политический анекдот расскажу”. Тот говорит: „Ты что, не видишь, что я — милиционер?” — „Это ничего, — говорит пьяный, — я тебе три раза расскажу”. Вот в таком духе.

— Та-ак, — сказал майор. — А еще какой? Вы ж сказали: „анекдоты”, а только один рассказали.

— Второй — совсем дурацкий. И порочит нашу милицию совершенно зря.

— Они все дурацкие, — сказал майор. — И все порочат.

— Опять же пьяный, — сказал папа, — идет по улице и орет: „Алё! Алё! Говорит „Голос Америки” из Вашингтона”. Подходит милиционер: „А ну, замолчи сейчас же!” А пьяный — не унимается: „Алё, алё...” ну и так далее. Милиционер его окунает в лужу...

— Как это? — спросил майор. — С головой?

— Разумеется. Чтобы пресечь эти выкрики. Но по сюжету пьяный не захлебывается, а продолжает изпод воды: „Лё... лё... хварыть... хлас... мерк... с Ваш... хтона...” Тогда милиционер садится перед ним на корточки и делает ртом: „Уу! Уу! Уу!”

— Глушилку изображает?..

— Я же говорил — никакого отношения к милиции.

Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них зеленое злое мерцание, и — после долгой выдержки — медленно их открыл.

— Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас никого в квартире быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается.

Папа взглянул на меня с торжеством, однако и сам удивился:

— Вы точно знаете?

— Точно, — сказал майор. — Все, что я говорю, всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно.

Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до живота ящик стола, достал блокнот, из красного пластмассового стаканчика вытащил заточенный карандаш.

— Это называется „оперативный блокнот”. Вы мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я все по-

нял, где что находится. — Он повернулся опять к окну. — Митрофанов!

— А? — Митрофанов и его пес обернулись одновременно.

— Поди сюда, „А”...

— С собакой?

— Как хошь. Можно с собакой, можно без собаки.

Они все же подошли вместе. Пес, положив лапы на подоконник, просунул меж прутьев шумно дышащую пасть. От них обоих в маленькой комнате вполовину уменьшилось света.

— К собаке у меня претензий нету, — сказал майор. — А есть у меня претензии к участковому Туголукову. Как это, понимаешь, у нас непрописанные живут свыше недели, а нам про это ничего не известно? Вот в этой квартире. — Он показал пальцем на блокнот, где уже появились передняя и санузел. Пес тоже поглядел и беспокойно взвизгнул. — И мало, что без прописки живут, так еще анекдоты про милицию сочиняют.

— Я не сказал „сочиняют”, — возразил папа.

— Это уж мне известно, кто их сочиняет. И зачем. Ты только послушай, Митрофанов!

Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый прошел для Митрофанова бесследно, а после второго он было реготнул, показав нам хорошие деревенские зубы с крепкими деснами, но был осечен грозным взглядом майора.

— Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады против нас или мне показалось?

— Выпады, — сказал Митрофанов. — И зlostные.

— Это я и хотел от тебя услышать. А ты — смеешься.

Пес взглянул на хозяина удивленно, затем, скло-

нив голову набок, принялся разглядывать меня и папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показалось, он все же не до конца нам поверил.

— Я сейчас обедать пойду, — объявил майор. — Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с Золотаревым. Им сегодня еще работка найдется небольшая, так что пусть подождут, я лично дам инструктаж.

— Устали, поди, Кумов с Золотаревым. Понервничали.

— С чего бы? Володьку Боже-Мой брали.

— Уже он опять освободился? — спросил Митрофанов.

— Уже ему снова садиться пора, — ответил майор. — Свыше недели погулял.

— Не отстреливался?

— В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и грозит горло себе перерезать.

— Не перережет, — сказал Митрофанов.

— Раз грозит — значит, не перережет. Ну, иди, тренируй дальше.

Пес, взглянув на хозяина вопросительно — принять ли это за команду, с видимым сожалением убрал свои лапы с подоконника и потащился за Митрофановым на лужайку.

Папа вычертил план изящными быстрыми касаниями карандаша, так ровно и точно, как и подбало старому проектировщику плавильных агрегатов для цветного литья. Он даже проставил кое-где размеры в миллиметрах. Майор поглядел на него с уважением и стал вникать:

— Так, эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь — к себе открывается или от себя? Ручка — справа или слева?

Убей меня Бог, чтоб я все это помнил, но папа отвечал уверенно:

— От себя, ручка — справа.

— Хорошо. — Майор даже повеселел. — Теперь учтите. Оно, конечно, следовало бы удалить лишних людей из зоны операции, тем более — пожилых, со всякими там функциональными расстройствами, поскольку возможна перестрелка. Но с точки зрения оперативной — лучше, чтоб эти люди оставались в квартире.

— Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зрения, — отвечал папа, бледнея, но твердо.

— Я понимаю, вы люди... скажем, робкие. Но я попрошу вас — усильтесь.

— Мы усилимся, — обещал папа. — Можете на нас целиком рассчитывать.

— Тогда — где вам лучше укрыться. Бетонную панель пуля не прошибает, но не исключаются рикошеты. Иногда — двойные и тройные. Вот в этом уголке, — он показал карандашом на плане, — опасность наименьшая.

— У нас тут как раз стоит диванчик.

— И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приляжет, как будто ей нездоровится, а вы возле нее посидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его определил как „бурный”. Но — не скандальный, это тоже привлечет внимание. Вы, скажем, поспорьте с ней на литературные темы. Или, скажем, про последний спектакль по телевизору.

— Телевизора у нас нет, — сказал папа. — Принципиально. Но это неважно, повод у нас найдется поспорить. Скажите, а ему? — Папа кивнул на меня. — Ему, наверно, необязательно участвовать в нашем бурном споре, лучше погулять во дворе?

— Спорить ему не нужно, — сказал майор, не глядя в мою сторону. — Ему лучше помолчать. И открыть двери как можно бесшумней. Ровно в половине шестого.

— Все двери? — спросил я, ощущая, с какой стороны у меня сердце.

— Зачем? — Майор опять не поглядел на меня. — Одну входную. А там — хоть в воздухе испариться.

Можно ли было провести эту операцию хуже, чем мы ее провели? Папа и мама спорили у себя в комнате до того занудливо и такими ненатуральными голосами, как если бы сильно перепились и приставали друг к другу с вопросом: „Ты меня уважаешь?“ А минут за десять до срока они совершенно исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясущейся рукой — и замок щелкнул на всю квартиру. Отчасти спасла положение кукушка в папиных часах, которая не запоздала распахнуть створки и отметить половину шестого печальным криком. Скрип отходящей двери приглушили железным урчанием и тяжким боем часы с бульдогом...

Они тотчас же вошли — в светлых, нежно-кофейных, плащах, засунув руки глубоко в карманы, оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и причесанные, с подбритыми по моде височками. Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и подбородки-утюги, так этого не было, — разве что нос у одного слегка расплющен, а у другого — слегка на сторону.

— Ку-ку, — сказал мне первый, кто вошел, с расплющенным, приблизив ко мне лицо и совершенно беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал внушением. — Дай же пройти, лопух.

— Простите, пожа... — успел я вымолвить, прежде чем его рука, деревянной твердости, запечатала мне рот.

Второй, с носом на сторону, притиснул меня одной рукой к стенке и затворил дверь, которая, как выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и

наш старый паркет, когда они пошли по нему друг за другом в тяжелых ботинках.

В моей комнате шел государственной важности разговор — Коля-Моцарт докладывал мордастому, пришедшему за полчаса до этого:

— ...Еще жене пальто кожаное привезли в подарок, цвет беж, Валера зафиксировал. Туристка из Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зеленой.

— Ничего себе подарок! — слышался голос моей дамы. — По каталогу фээрэгэ такое пальтишко — триста шестьдесят девять марок, и еще сумка под цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же скрытый гонорар. Совсем уже обнаглели. И что только делают, что делают!

— А сколько ж это в рублях, если посчитать? — задумался мордастый.

Первый, кто вошел, отпихнул дверь ботинком и, выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.

— А щас посчитаем в рублях!

Второй, став против двери и тоже с пистолетом у живота, рявкнул на всю квартиру:

— Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!

Там что-то упало на пол, послышался изумленно-испуганный, но бессловесный, вскрик моей дамы, и быстро залопотал мордастый:

— Что такое, что такое, что такое? Свят-свят!..

Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойствие, но ему-то как раз и досталось — я услышал звук, точно кулак с размаху вплеился в тесто, и обиженный Колин взрев. Он что-то пытался объяснить насчет удостоверения, но нечленораздельно и вперемежку с матом, поэтому остался не понят.

— Опять лезешь, падла, куда не след? Еще пошевели у меня мослами! Сказано было — не двигаться.

Второй, оставшийся в коридоре, ласково посоветовал:

— А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же удобнее будет.

— А и правда, Сергунь, — отозвался Олежек. — Ну-кося, граждане бандиты, валютчики мои золотые, все сюда, к стеночке лицом, упрямся руками, ниже, ниже, вот хорошо.

Сергунь, опустив пистолет, тоже вошел в комнату. Набравшись духу, и я туда заглянул „Родственники” наши, — не исключая и дамы, — упирались руками в стенку и изображали правильный прямой угол, с перегибом в тазобедренной части. Признаюсь, и в этом положении моя дама сохранила некоторую эlegantность.

Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, ощупывал брючные карманы и под мышками. Мордастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал ногою.

— Лягаешься, — упрекнул Олежек, тыча ему пистолетом под коленку. — Значится, как этот пьяный говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб до тебя дошло?

— А милиционер ему что? — спросил Сергунь, направляясь к окну. — Уу? Уу? Уу?

— Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.

— Какой пьяный? Какой милиционер? — вскричал мордастый. — Вы из какого отдела? Если угодно, я могу представиться — капитан Яковлев. А вы кто?

— Капитан, капитан, улыbnитесь, — пропел ему Олежек и принялся исследовать его пиджак.

Сергунь, между тем, исследовал аппаратуру — нечто напоминающее кинопроектор, объективом направленный в окно. От аппарата к розетке тянулся черный кабель. Сергунь повертел ручки, прило-

жил к уху толстый наушник, с раструбом из губчатой черной резины.

— Не смей трогать настройку! — визгливо закричала дама. — И слушать вы не имеете права! Я кому сказала? Слышишь, ты?..

И она прибавила нечто такое в адрес мужских сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал от первейших матерщинников. Даже Сергунь застыл в оцепенении.

— Олежек, она вроде выразилась?

— Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.

— Что ж она делает? — возмутился Сергунь. — Да она же все святое порочит, лярва. Не-ет, я ее сейчас оттяну... от этого занятия.

Слегка заалев, он шагнул к ней, к ее приполненным формам, выставленным весьма удобно, и рукою, свободной от пистолета, сделал что-то едва уловимое, рассчитанно-молниеносное, — а проще сказать, *оттянул по заду*, — и у меня в ушах зазвенело от ее истошного поросячьего визга.

— Полегче, Сергунь, — сказал Олежек. — Еще, глядишь, след на всю жизнь останется, мужики любить не будут со всей отдачей.

— На всю жизнь — это нет, — возразил Сергунь, *оттягивая* еще раз, для симметрии. — А недельку у ней это дело потрясется.

И, не внимая новым визгам бывшей моей дамы, — от которой я излечился совершенно, — и возмущенным, но, к сожалению, неразборчивым восклицаниям Коли и мордастого, Сергунь подошел к окну и отвел занавеску. Поверх его плеча я увидел в окно в пятом этаже и нашего визави, склонившегося над книгой или своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону, — может быть, что-то услышав необычное или почувствовав чей-то взгляд, — но вряд ли он

смотрел на что-то определенное и что-нибудь видел, кроме зеленеющих верхушек, скорее — блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась, и Сергунь бросил занавеску.

— Во, дела! — сказал Олежек, разглядывая книжечку, снятую с шеи мордастого. — А он, и правда, капитан. Только ни фиги не Яковлев, а Капаев.

— Совершенно верно! — мордастый сделал попытку выпрямиться.

Олежек нажимом пистолета между лопаток возвратил его в прежнее положение.

— А чего ж врал?

— Вы просто не в курсе операции! — вскричал мордастый, тут же, однако, снижая тон. — Я на это задание — Яковлев. Вы понимаете, что такое государственная тайна?

— Чего государственная тайна? — не понял Олежек. — Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сергунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка у этого, мосластого, он кто будет — Иванов, он же Сидоров, или — наоборот?

Долговязый молча терпел, покуда Сергунь снимал с него книжечку и разглядывал ее, почесывая себе лоб пистолетом.

— Ни то, ни другое, Олежек. Старший лейтенант Серегин, Константин Дмитриевич. А говорили — ты Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Дмитрич. Вроде, похоже...

Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от злости оскаленное и густо-красное. Из уважения к ее полу ей позволили оторвать одну руку от стены.

— Ты, значит, не лярва, — сказал Сергунь, — а техник-лейтенант Сизова? А еще кто?

— Никто. Сизова Галина Ивановна.

— Одна честная нашлась, — заметил Сергунь, не без чувства юмора. — Я, говорит, никто. Ну, за чистосердечное признание мы тебе пятнадцать суток не станем оформлять. Как ты, Олежек? Простишь ей оскорбление при исполнении?

— Она ж тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне — за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю. Ты же у нас голубь мира.

— Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, как думаешь? Хрен с ними, пушай выпрямляются?

— А они еще не выпрямились? — удивился Олежек. — Ну, может, им нравится так? Тогда — мы пошли.

— Нет уж, подождите! — Мордастый, встав вертикально, теперь, кажется, по-настоящему рассердился. — Извольте все же представиться. Кто вы такие?

— Да здешние мы, — ответил Олежек простецким невинным тоном. — Нас тут в районе все собаки знают. И облаять — побаиваются.

— Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете в рапорте вас упомянуть?

— Пожалста. Я Кумов Олег Алексеич. А он — Золотарев Сергей Петрович.

— Книжечки можно не предъявлять? — спросил Сергунь. — Или надо?

Мордастый поглядел, как они засовывают пистолеты за отвороты плащей, и буркнул:

— Не нужны мне ваши книжечки.

— А в рапорте своем, — сказал Олежек, — не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас не всегда предупреждает.

— А мы этого не любим, — добавил Сергунь.

Выходя, они весело перемигнулись. Мне больше не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернулся и увидел папу, который, оказывается, стоял

у меня за спиной — весь какой-то увядший, сгорбленный, опустив глаза.

— Ошибочка вышла, папаша, — сказал Олежек, разводя руками. — Люди эти не наши, но, как бы сказать, свои.

Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись — малость с удивлением.

Мы проводили их до дверей. Они теперь шагали гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой поступью.

— Извините, папаша, — сказал Олежек на лестнице, всматриваясь в папино лицо. — Может, лишнее беспокойство внесли... Это у них работа — санаторий, а у нас — погрязнее.

— Извините, — сказал и Сергунь.

— Ничего, что же делать... — ответил папа и закрыл дверь.

В коридоре его дождался мордастый. Волнистый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то вспотевшему, и губы кривились язвительно. Он не говорил, а шипел:

— Что ж, вы проявили бдительность, в этом вас упрекнуть нельзя. Поступили как советский гражданин.

Папа, не поднимая глаз, опять молча кивнул.

— Но вы понимаете, что вы нас *дезавуировали*? Ввиду исключительной важности объекта, мы здесь никого не ставили в известность, полагаясь на ваше содействие. А что получилось — из самых, что называется, благих намерений?.. А может, не из благих?

— Из благих, — ответил папа скучным голосом.

— Я сейчас иду звонить — если эти люди не имеют секретного допуска, то считайте, задание государственной важности вами сорвано. И мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры.

— Зачем же идти куда-то? — спросил я. Должно быть — по глупости.

Он смерил меня своим предолгим уничтожающим взглядом, но ответил не мне, а папе:

— Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж извините. И не трудитесь меня провожать.

Мы и не трудились. От грохота, с которым он захлопнул дверь, у меня сильно заныло где-то внизу живота, не знаю — как у папы.

Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла непривычная, зловещая тишина. Мы с папой, не глядя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, прижав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в сторону.

— Боже мой, — говорила она, едва не плача. — Ну можно ли так унижать людей! Какие б они ни были...

Папа, нахмурясь и звучно посапывая, стал ходить из угла в угол. Я тоже не мог себе найти занятия. Вдруг папа нашел его для себя — он стал заводить свои часы. Одни за другими он их снимал или сдвигал с привычных мест, поворачивал к себе тылом или прижимал к животу и напористо вертел ключом, морщась как от натуги. Приступая к жизни, они тикали, по-особенному громко, точно бы вынужденное бездействие было им в тягость. Папа не подводил стрелки, и все они показывали совершенно разное время, каждые начиная с того, когда испустили дух. Минут десять только они и нарушали давящую тишину.

Но „чу!“ — как писали в добром девятнадцатом веке. Нам это показалось — всем троем — слуховой галлюцинацией, но и там, за стеною, явственно что-то включилось, зашипело, переключилось, всту-

пили аккорды гитары, глуховатый тягучий голос певца запел о старенькой скрипке — может быть, заменяющей отечество, — и металлический баритон Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил рефрен:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не оставляйте старрраний, маэстро,
Не убирррайте ладони со лба!..

А вскоре мы услышали какую-то возню в их комнате, очень похожую на любовную, — скрип дивана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу и угрозу в голосе моей бывшей дамы:

— Ко-ля! Мо-царт! Не смей, все жене скажу...

— Бро-ось, — перебивал он протяжно. — Дружеских ласк не понимаешь. Просто, нас с тобою работа спаяла...

Я сказал — „в их комнате”, но двадцать лет она была моей, и мог же я туда вломиться по забывчивости, толкнуть дверь случайно?

Дама, приятно раскрасневшаяся, уронив на лицо нечаянную прядь и покусывая ее, сидела одной ляжкой на моем письменном столе, а Коля — перед нею на диване, глядя на нее снизу. Моцартова костистая длань обхватывала ее колено, облитое телесным блеском колготки. Она не пошевелилась при мне, даже не посмотрела, а спокойно подождала, пока Коля не повернулся к двери, спрашивая меня глазами удава: „Что надо?” С горящим лицом я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.

Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой что-то случилось, и папа, стоя перед нею, спрашивал с нарастающим испугом и от этого все больше раздражаясь:

— Что с тобой, Аня? Что? Что?..

— Нет! — говорила мама, поднимаясь с диванчика, с такими глазами, которые в романах называют „сверкающими“. — Этого быть не может. Этого не может быть никогда! Чтобы с людьми так поступили, чтобы их...

И она сказала, как именно с ними поступили, теми словами, которые из маминых уст я меньше всего предполагал услышать и не берусь здесь воспроизвести. Я только почувствовал — в эти слова она вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю свою смелость, которой мне, наверное, не иметь.

— И чтобы они после этого... не повесились, нет, я им такого не желаю, но даже не поняли бы, что с ними произошло! И это они — русские?! И это они решают — кого лишить родины, гражданства? Надо их самих лишить навсегда — национальности!

Мы не сразу увидели, что папа, умёньшась в плечах, багровый, как перед insultом, показывает глазами на дверь. К нам, не торопясь, входил Коля-Моцарт.

— Ну, что вы так, Анна Рувимовна, — протянул он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже что смущенно. — Зачем вы на нас так... злобствуете? Это мы на вас должны обижаться, натерпелись — не дай Бог.

Он потрогал пальцами под глазом — там уже напухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Олечек перестарался, но что делать, подумал я, может быть, это единственный язык, который до них доходит?

— А если б у меня еще оружие оказалось? — спросил Коля сам себя. — Уй, что б тут было!

— Не смей! — послышался рыдающий вопль дамы. — Не смей перед ними еще унижаться! Иди сюда сейчас же!

— Отстань, — Коля отмахнулся своей широкой

ладонью. — Ей-Богу, Анна Рувимовна, вы это напрасно — вот насчет гражданства и что мы не русские. Ну, это уж слишком...

— Да они тебе повеситься предлагают! — кричала дама. — А сало русское едят!..

Следом мы и впрямь услышали рыдания — во что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой диван.

— Может быть, ей что-нибудь нужно успокоительное? — спросила мама, отчасти с жалостью, отчасти — брезгливо.

Коля, не отвечая, закрыл дверь и направился к диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он сел, а она стояла перед ним в двух шагах, стискивая на груди свой темно-малиновый халат.

— Что вы думаете, — спросил Коля, — мы вашему соседу зла желаем? Хотим его посадить? Или — выдворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам этого не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто чего значит для России.

— Почему же вы не оставите его в покое? — спросила мама. — Если уж мы говорим по-человечески...

— Да по-человечески-то мы понимаем, что лучше бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мороки. Но — нельзя! Идеология! Уж очень он далеко зашел. А в то же время — определенные круги на Западе его имя используют в неблагоприятных целях...

— Ой, не надо про „определенные круги на Западе“, — сказала мама. — Не надо про „неблаговидные цели“. Это уже не человеческий язык. Скажите, Константин Дмитриевич... Кажется, так вас величать? Я слышала.

— Так, — сказал Коля.

— Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что когда ваши дети вырастут, — наверное, есть они у

вас? — они прочтут его книги и спросят вас: что было опасного, если просто сидел человек и поскрипывал себе перышком?..

Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был человеческий.

— Ох, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спрашивают! А когда вырастут — спрашивать перестанут. Потому что поймут — идеология! Нельзя! Да может, это самое опасное и есть — сидит человек и что-то скребет перышком. А мы не знаем — что.

Мама смотрела на его голову и, кажется, не находила, о чем еще спросить. Спросил папа, стоя перед окном и глядя сквозь занавесь вниз, на зеленющие кроны:

— А что вы будете делать, когда вот эти деревья дорастут до крыши?

— Подпилим, — слегка удивясь, ответил Коля. — Не мы, конечно. Специалистов позовем — по озеленению.

— И долго все это будет?

Коля посмотрел ему в спину светлыми стеклянными глазами.

— Что — „все“?

Папа словно очнулся.

— Я хотел сказать — долго вы его собираетесь держать в осаде? Наверно, куда он не уедет?

Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся с диванчика и пошел к двери. Перед тем, как закрыть ее за собой, он все же ответил папе:

— Всю жизнь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Копия — А. Солженицыну

Уважаемые товарищи!

Я, как и вы, получил письмо А. Солженицына и хочу высказать свое суждение по всем пунктам этого письма.

Я осмеливаюсь напомнить съезду, что не рапорты о наших блистательных творческих победах, не выслушивание приветствий иностранных гостей и не единение с народами Африки и борющегося Вьетнама составляют главную задачу писательских съездов. Но прежде всего — единение со своим народом, прежде всего — разрешение собственных наболевших проблем, без чего не может более жить и развиваться советская литература. Она все-таки не может жить без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказать любое суждение в области социальной и нравственной жизни народа, — какими бы ругательствами мы ни поносили это законное требование всякого мало-мальски честного, мыслящего художника. Без нее — он чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющей зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк в своем отечестве, способный воздействовать духовно на своего читателя, развить его общественное сознание, либо предупредить об опасности, пока она не надвинулась вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она осуществляется, но только не в сфере официально признанной, подцензурной литературы, а в деятельности так называемого „Самиздата“, о которой вы, вероятно, осведомлены. Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные вещи Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Пильняка, Платонова и других, ныне живущих, чьих имен я не называю по вполне понятным соображениям. Могу лишь сказать, что и моя вещь усыновлена „Самиздатом“, не найдя пристанища в печати. Время от времени она возвращается ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес в нее очередной переписчик, а той бережности и точности, с которыми все-таки сохраняется ее главное содержание и смысл.

С этим ничего не поделаешь, — как ничего нельзя поделать с распространением магнитофонных записей наших менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных Радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Устройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии, арестуйте авторов и распространителей, и все же хоть одна копия да уцелеет, а оставшись — размножится, и еще того обильнее, ибо запретный плод сладок. Помимо неподцензурных песен и литературы есть неподцензурная живопись и скульптура, и я даже предвижу появление неподцензурного кинематографа, как только кинолюбительская техника станет доступной многим. Этот процесс освобождения искусства от всяческих пут и „руководящих указаний“ развивается, ширится, и противостоять ему так же глупо и бессмысленно, как запретить табак и спиртное.

Лучше подумайте вот о чем: явно обнаруживаются два искусства. Одно — свободное и непринужден-

ное, каким ему и полагается быть, распространение и воздействие которого зависит лишь от его истинных художественных достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое, не только угнетенное в той или иной степени, не только стесненное, а подчас и изувеченное всяческими компрачикосами, среди которых первым на пути автора становится его же собственный „внутренний редактор”, — наверное, самый страшный, ибо он уродует дитя еще в утробе. Которое из этих двух искусств победит — предвидеть не трудно. И волей-неволей, но приходится уже сейчас делать выбор — на какую же сторону из них мы встанем, которое же из них поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи „Самиздата”. 9/10 из них, могу сказать со всей ответственностью, не только можно, их должно печатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. Ничего антинародного в них нет, — об этом ни один художник, здравый умом, никогда и не помыслит, — но в них есть дыхание таланта, и яркость, и блеск раскрепощенной художественной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни. А подчас в них слышится боль и гнев за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся ярыми его друзьями и охранителями.

Разумеется, все вышесказанное относится и к неизданным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть почти все им написанное. Это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия, кому суждено прославить ее в мире и ответить нам на все болезненные вопросы выстраданных нами трагедий, — не знаю иного автора, кто имел бы больше права и больше силы для такой задачи. Не в обиду будь

сказано Съезду, но, вероятно, 9/10 его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр же Солженицын, гордость русской литературы, донесет свое имя много подальше. И если ему сейчас физически трудно выполнить свою задачу, по причинам достаточно вам известным, изложенным в его письме, то не дело ли Съезда, не честь ли для него — защитить и оберечь этого писателя от всех превратностей его индивидуальной судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск и конфискация архивов, „закрытые” издания вещей, к изданию самим автором не предназначенных, вдобавок еще гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... — читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происходит в пролетарском государстве. Это происходит на 50-м году Революции. Это происходит, наконец, в цивилизованном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу объявить писателя „врагом народа”, — в конце концов, это был бы честный бандитский прием, к которому нам ли привыкать! — нет, воспользовались приемом сявок, недостойных находиться в приличном доме, подпустили слух исподтишка, дабы скомпрометировать писателя в глазах его читателей, хоть как-нибудь объяснить его вынужденное молчание... Такого парадокса еще не видела история демагогии — официальные общественные организации, пущающие анонимку на честного человека! Ведь даже Чаадаев был объявлен сумасшедшим высочайше, то-бишь открыто.

И вот я хочу спросить полномочный Съезд — нация ли мы подонков, шептунов и стукачей? или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит. Я верю в это столь же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы здесь при чем? Мы его защитили от

обысков и конфискации? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую злобонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда он искал ответа?

Мы в это время выслушивали приветствия г-на Дюрренматта и г-жи Хеллман. Что же, это тоже дело, как и единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией. Но пройдут годы и нас спросят — что сделали мы для самих себя, для своих ближних, которым так трудно было жить и работать.

Письмо Солженицына стало уже документом, который обойти молчанием нельзя, недостойно для честных художников. Я предлагаю Съезду обсудить это письмо в открытом заседании, вынести по нему ясное и недвусмысленное решение и представить это решение правительству страны.

Извините все резкости моего обращения — в конце концов, я разговариваю с коллегами.

Уважающий вас
Г. Владимов

Москва, 26 мая 1967 г.

В ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Вы не пустили меня на книжную ярмарку во Франкфурт-на-Майне, куда меня пригласило норвежское издательство „Гюльдендалъ”. Я не был на Западе ни дня, проживу и без этих шести; трудно лишь объяснить г-ну Гордону Хельмбаку, главному редактору, наивно меня пригласившему, что мой союз, добровольный творческий союз единомышленников, может утаить приглашение и не отвечать на мои запросы, может не пустить автора встретиться со своим издателем, с читателями, с книгой. Поймет ли он, смогут ли ему перевести, если я объяснюсь на вашем страшном языке тюремщиков и работоторговцев: „я — *невыездной*”?

Еще трудней — себе самому признаться, что питал иллюзии, будто вам ведом иной язык, будто природа ваша может меняться.

Когда на Западе появилась и стала распространяться моя повесть „Верный Руслан”, вы спохватились, многого ли достигли долгим битьем „Трех минут молчания” — или, просто, рука устала? — вы сочли ошибкою и саму травлю, и статус „неудовольного”, каким я всегда для вас был, и вы призвали меня „вернуться в советскую литературу”. Я вижу теперь, какую цену должен был заплатить за это возвращение. Простодушный г-н Хельмбаку, желая вас порадовать, пишет, что очень доволен переводом „Руслана” и отзывами норвежской прессы, —

и какую ж занозу вгоняет в ваши партийные сердца! Ну, разумеется, политика не по его части, ему все едино, где появляется русская проза: в „Гранях” или в „Дружбе народов”, — там, где он видит литературу, там вы — политику и ничего больше; кто же дальтоник? Я мог бы попросить его переписать пригласительное письмо, чтоб никакой „Руслан” не упоминался, — это вас бы устроило? — но для меня бы значило: отказаться от собственной книги. На унижение я не пойду. И так как вам не расстаться с вашей природой, а мне — со своей, то это мое письмо к вам — последнее.

Отдавали вы себе отчет, куда предлагали мне „вернуться”? В какой заповедный уголок бережности и внимания? Туда, где по семи лет дожидаясь издания книги, после того как ее напечатал первый журнал в стране (дети, родившиеся в тот год, как раз пошли в школу, выучились читать)? Где любой полуграмотный редактор и после одобрения вправе потребовать любых купюр, пускай бы они составляли половину текста (не анекдот — письма ко мне М. Колосова)? И где независимый суд в 90 случаев из ста (а если произведение критиковалось в печати, то в ста случаях) примет сторону государственного издательства и подтвердит в решении, что надо уложиться в „габариты повести”? Литературоведы, не знающие этого термина, обратитесь к судье Могильной — *она знает!*

Чего не претерпишь ради великого российского читателя — да если б была нужда терпеть, говорить с ним из-под пресса, постылым языком раба Эзопа. Разумеется, всякий предпочтет издаваться на родине, где его тиражи свободно расходятся, а не тащатся в микродозах через самую надежную в мире границу, и все же нет проблемы неизданных авторов, есть проблема — не решающихся издаваться. Десять

лет назад, в письме IV-му съезду, я говорил о наступлении эпохи Самиздата — и вот она кончается, другая идет, куда более продолжительная, — эпоха Тамиздата. Да он всегда и был, Тамиздат, ненавистная для вас палуба в океане, на которую усталый пилот мог посадить машину, когда не принимали отечественные аэродромы. Но ведь советовал вам изгнанник, а вы не слушали: „Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века”, в пору уже не о палубе говорить — о целых островах, если не материке. И попробуйте не посчитаться с нарастающей жаждой читателя, который, в отличие от вас, текстом интересуется, а не выходными данными, — все меньше у него охоты разбирать седьмые-восьмые копии, он хочет иметь — книгу.

Россия всегда была страной читателя — и такого, что в семи водах испытан, в бессчетных огнях. Чем ему только мозги не пудрили — и казенной хвалой, и списками сталинских, в Лету канувших, лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и докладами ваших секретарей, и все-союзными анафемами, и публицистикой „знатных сталеваров”, — а все же не сплошь запудрили, выстояла, выкристаллизовалась лучшая ее часть, знающая цену честной, не фальшивой книге. Этот читатель, помимо своей основной обязанности — просто читать, — принял еще оброк, наложенный временем: сохранять книги от физической смерти, и тем бережней, чем рьяней их изымают. Тридцать лет он хранил Есенина, пока не дождался переиздания, еще хранит — машинописного Гумилева, уже хранит — „Ивана Денисовича” в „Роман-газете”, принял на сохранение — „В окопах Сталинграда” с библиотечным штампом — зачитал ли? украл? выпросил? — но уберег от гильотинного ножа.

Вы предлагали мне „определиться”, сделать выбор, но, боюсь, он не между Тамиздатом и Тутиздатом, он — между читателем и вами. Между ним, кто хранил и мои „новомировские” комплекты, переплетал — без надежды, что издадут, а на северных флотах — переписывал от руки в тетрадки, — и между вами, кто не исполнил передо мною элементарных обязанностей профессионального союза. Ваше бюро пропаганды *не рекомендовало* читателям встречаться со мною, ваша правовая комиссия не вступилась за мои права, попранные издательством „Советская Россия”; знакомство с иностранной комиссией вполне исчерпывается эпизодом с приглашением от „Гюльдендаля”. А могло ли иначе быть? Могли б вы на йоту отступить от главного своего предназначения?

Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь — полицейским аппаратом, вознесшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только они. Не стану зачитывать присталинский список — кому союз, вернейший проводник злой воли власть предержащих, да со своей еще ревностной инициативой, первоначально *оформил дела*, обрек на мучения и гибель, на угасание в десятилетиях несвободы, — слишком длинно, более 600 имен, — и вы оправдываетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве — прежнем, нынешнем, промежуточном — „поздравляли” с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца — Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля,

выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал? И вот, еще не просохли хельсинкские чернила, новые кары — изгон моих коллег по международному ПЕН-клубу. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух Нобелевских лауреатов высвистели! И как не воскликнуть словами третьего: „Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!“ Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснемся? Так ведь для этого, по крайней мере, Фадеевым надо быть. Но, травя, изгоняя все мятущееся, мятежное, „неправильное“, чуждое соцреалистическому стереотипу, все то, что и составляло силу и цвет нашей литературы, вы и в своем союзе уничтожили всякое личностное начало. Есть оно — в человеке ли, в объединении — и теплится надежда на поворот к раскаянию, к возрождению. Но после размена фигур положение на доске упростилось до крайности — пешечное окончание, серые начинают и выигрывают. Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются. Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей введома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима.

Оставаясь на этой земле, я, в то же время, и не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, „оформленных“ к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чье пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они

поймут, что колокол звонит по каждому из нас, и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, — пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас — своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.

Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны, — давите, преследуйте, не пущайте. Но — без меня.

Билет № 1471 возвращаю.

Георгий Владимов

Москва, 10 октября 1977 г.

Генеральному секретарю ЦК КПСС

Ю. В. Андропову

Уважаемый Юрий Владимирович,

я не могу пожаловаться на то, как были восприняты мои первые шаги в литературе — вначале как критика, а позже и прозаика, автора „Большой руды”, отмеченной более чем 120-ю статьями и рецензиями, поставленной в театре и в кино, на радио и телевидении и за которую меня пригласили в Союз писателей.

Однако с года 1969-го, когда я имел несчастную глупость выступить в „Новом мире” с другой крупной вещью „Три минуты молчания”, мои отношения с советской литературой переменялись кардинально и непостижимо для меня. Думаю, и самым рьяным гонителям теперь не сформулировать своих претензий к этому роману, не объяснить, какая была необходимость — уже и после разгрома журнала, после ухода и смерти Твардовского, — продолжать кошачий концерт в центральной и в местной печати и подвергать автора критической экзекуции, семь лет не издавать книгу и давить на него материально, не платя причитавшегося по договору, вытребывая назад авансы, а поскольку автору это было невозможно, то присылать судебных исполнителей описывать у него мебель. Одновременно другие, услужливые, руки подсовывали ему „социальные заказы” на побочные, хорошо оплачиваемые ремесла, как то переводы казахских и иных национальных авторов

— соблазн, сгубивший такого прекрасного писателя, как Юрий Казаков. Вот еще одна трагическая судьба, ожидающая своего исследования.

Ни помощи, ни защиты от травли я не находил ни в одной инстанции, а меньше всего — в отделе культуры ЦК, где некий Альберт Беляев, графоман, поставленный „управлять” литературой, оказался, к моему злополучию, еще и соперником мне по части маринистики.

Есть много способов вытолкать неугодного из советской литературы, вынудить его издаваться за рубежом, гораздо меньше — привлечь его вернуться. В моем случае — секретари Союза писателей такого способа не нашли. И да послужит этот случай уроком, что не любая душа в силах простить совершенные над нею надругательства, хотя б они и были признаны ошибкой. К тому же, и после такого признания я все оставался неугодным — это выяснилось быстро, когда от меня скрыли приглашение во Франкфурт, сроком на шесть дней. Ведь у нас поездки на Запад, совершенно необходимые писателю, даром не даются, они суть высшего рода награды за примерное поведение. Не заслужив такой награды за 16 лет моего пребывания в Союзе писателей и не надеясь когда-нибудь заслужить, я эту организацию покинул и возвратил свой билет.

С этого дня — и в особенности после избрания меня председателем Московской группы „Международной Амнистии” — не оставляет меня своим вниманием возглавлявшийся Вами КГБ. Рассказать ли здесь или Вам это известно по докладам? — о непрерывной слежке и пресекаемой переписке, о приходах милиции — с распросами, на какие средства я живу, об угрозах моей жизни — письменных и телефонных, да наконец и об отключении телефона — *пожизненно*, с передачей номера 144—47—21 како-

му-то юмористу, отвечающему на звонки, что прежний абонент то ли эмигрировал, то ли умер. Не думается ли Вам, что и это все признают когда-нибудь ошибкой, нуждающейся в прощении?

Венцом творческих усилий Вашего ведомства явился обыск у меня 5 февраля минувшего года — на том основании, что литератор Е. Козловский принес мне прочесть свою повесть „Красная площадь”. Согласно молве, Вы владеете несколькими языками и даже читаете в подлиннике Монтеня; едва ли Вы не знаете, что с времен Софокла и Еврипида у молодых литераторов существует обыкновение приносить свои творения на суд более опытным коллегам, и никто никогда, ни в какой просвещенной стране, не устраивает по сему поводу обысков. У меня — перерыли две квартиры, мою и 73-летней тещи, изъяли записные книжки и материалы к новой книге, личную и деловую переписку с издателями и адвокатом, экземпляры моих, изданных на Западе, произведений. Если не взяли самих рукописей, это не милость захватчиков, а моя многолетняя предосторожность — не держать рукописей дома, а только последние 5—6 страниц.

При втором обыске, 28-го декабря, забрали и пишущие машинки — с русским и латинским шрифтами. Русская — мне прослужила 34 года; в свое время, чтоб ее купить, я продал единственный свой костюм; на ней были отстуканы все мои произведения. Вернут ли ее — не знаю, до сих пор, невзирая на все обещания, мне не отдали ничего.

4-го января, при допросе по делу арестованного писателя Леонида Бородина, следователь Губинский потребовал от меня письма в КГБ, где бы я:

1. Признал бы свою деятельность антисоветской и чистосердечно в ней раскаялся.

2. Указал бы все свои контакты (которые, по-видимому, не известны Губинскому из агентурных сведений и захваченной переписки).

3. Касательно литературы — дал бы обещание впредь издаваться на Западе только официально, через ВААП, а гонорары, полученные „незаконными путями“, перевел в доход государства.

Если такого покаянного письма не последует от меня до 20-го числа, значит „мы друг друга не поняли“, т. е., он, Губинский, возбудит против меня уголовное дело, для которого материалов у него „более чем достаточно“.

Я уже ответил Губинскому, что мы друг друга не поймем никогда, и ждать ему до 20-го нет смысла, я такого письма не напишу. Я готов принять ставшие уже привычными тернии русского писателя и, как прежде недрогнувшей ногою ступил на палубу рыболовного траулера, так же ступлю и под своды Лефортовской тюрьмы. Уверяю Вас, ни следствие, ни суд, ни уготованные мне лагерь или ссылка не переменят моих убеждений и не покажутся тяжелее того бесчестья, какое бы я себе нанес требуемым покаянием.

Однако ж, вместе со мною, а может быть — вместо меня, грозятся арестовать мою жену, Наталью Кузнецову. Оказывается, и на нее „материала достаточно“, а главная ее вина — что она не прилагает усилий добиться от меня вышеуказанного письма, да еще и мешает общению со мною людей, которые могли бы на меня повлиять „в лучшую сторону“. Это, в общем, неплохо придумано, хотя и не ново. Быть храбрым за чужой счет — невелика честь, и я не могу допустить, чтоб по моей вине, действительной или воображаемой, пострадал бы другой, будь то жена или вовсе посторонний. Как видите, славным чекистам не стоило нравственных мучений уни-

зиться до презираемой во всем мире, но и действенной, тактики заложничества.

Я предлагаю иной выход, менее ущербный для нашего государственного престижа. Я готов покинуть Россию. Быть вынужденным к этому — больно и обидно для нас, свою любовь к ней мы доказали уже тем, с каким терпением сносили гонения, преследования, унижения нас самих и нашего жилища. Я не покинул свою страну добровольно в трудные для нее годы и надеюсь, в меру своих сил и способностей, еще послужить ей, живя за рубежом — до поры, когда мы сможем вернуться.

Если нужны формальные обоснования нашего отъезда, то вот они. Я имею приглашения от ПЕН-клуба Франции и французского же издательства „Галлимар” приехать для лечения сердца. Кроме того, академии Бонна и Кельна, ФРГ, выразили желание, чтобы я прочитал курс лекций о современной русской прозе. Я прошу Вашего содействия моему выезду из СССР, с женой, сроком на год. Мы хотели бы выехать летом — сейчас, зимою, врачи не рекомендуют мне столь резкой перемены обстановки.

Впредь до указанного времени, еще просьба — чтоб нас оставили в покое.

С должным уважением
Георгий Владимов

Москва, 12 января 1983 года

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Георгий Николаевич В л а д и м о в родился в Харькове 19 февраля 1931 года в семье преподавателей русского языка и литературы. В 1948 году окончил Суворовское училище и поступил на юридический факультет Ленинградского университета. Оставшись после ареста матери в 1952 году один (отец пропал без вести на фронте), чтобы иметь возможность закончить университет, перешел на заочное отделение. Одновременно работал грузчиком, землекопом и т. п.

Окончив университет и получив диплом, устроиться на работу по специальности не мог (мать репрессирована). Стал работать в небольшой районной газете. Печататься начал как литературный критик в 1954 году (статьи „К спору о Ведерникове”, „Деревня Огнищанка и большой мир”, „Три дня из жизни Холдена и др.) Был замечен Твардовским и приглашен в „Новый мир” редактором отдела прозы. Работал там с 1956 до 1959 года.

Георгий Владимов впервые выступил как писатель в 1961 году с повестью „Большая руда” („Новый мир” № 7). Повесть эта получила хороший отклик у критики и полюбилась читателям. Она была поставлена в театре и экранизирована. Переведена на многие европейские языки. Георгий Владимов был принят в Союз советских писателей.

В 1969 году в том же „Новом мире” (№№ 7—9) был опубликован большой роман Владимова из жизни советских моряков — „Три Минуты Молчания”. Доскональное описание плавания среднего

рыболовного траулера „Скакун” по морям Северной Атлантики сделано Владимовым от лица матроса Семёна Шалая и выдержано в манере не пропускающего никаких подробностей плавного повествования. С одной стороны, — это увлекательный рассказ из жизни советских моряков, с приключениями, с драками, с бурей, с сигналами СОС, подаваемыми в назначенные для этого Три Минуты Молчания, со спасением чужого шотландского судна, с мужским товариществом корабельной команды, с личными переживаниями героя, с любовью, с женщинами. С другой стороны, это — как сказал бы Солженицын — „опыт художественного исследования” каждодневной жизни обыкновенной команды обыкновенного рыболовного судна с царящими в ней дружескими и недружескими отношениями, желаниями и интересами.

Но роман этот появился уже после выступления автора в защиту свободы творчества (см. в Приложении его письмо IV съезду писателей) и Солженицына. Критика стала рвать роман и его автора на части (см. письмо Владимова Андропову).

В 1975 году в изд. „Посев” появилась новая повесть Владимова — „Верный Руслан”. Эта повесть — о караульных (конвойных) собаках, оставшихся без дела после ликвидации лагеря, — ходила в Самиздате уже более десяти лет (авторство ее одно время приписывали Солженицыну). Она имела большой успех и переведена на десять языков.

После выхода „Верного Руслана” — и „именно благодаря его появлению!”, как считает автор, — издательство „Современник” в 1976 году выпустило „Три Минуты Молчания” отдельной книжкой. Однако автору не дали возможности „восстановить, хотя бы отчасти, выгрызенное цензурой и, напротив, опустить места, служившие вынужденно связками разо-

рванному тексту". Роман этот в полной авторской версии появился сначала во французском издании (изд. Галлимар), а затем и в русском (изд. „Посев", 1982).

Осенью 1977 года Георгий Владимов решил порвать отношения с Союзом советских писателей, считая его организацией безнравственной и не выполняющей функций защиты своих членов от всяческого рода преследований (см. в Приложении письмо в Союз советских писателей).

Еще три года прошли для Владимова и его семьи сравнительно спокойно (если не считать таких „мелочей" как анонимные письма и телефонные звонки с угрозами и т. п.), но печатать его перестали вовсе.

В ноябре 1980 года у Владимова, вскоре после вызова на допрос по делу Татьяны Осиповой в Лефортовскую тюрьму, был инфаркт миокарда, последствия которого не изжиты до сей поры (май 1983 г.)

5 февраля 1982 года к Владимову и его жене Наталье Евгеньевне Кузнецовой нагрянули сотрудники КГБ с обыском. Перерыли квартиру не только Владимовых, но и матери Натальи — Елены Юльевны Домбровской. Забрали две пишущих машинки и весь писательский архив (изданные на Западе книги Владимова, записные книжки, переписку — см. письмо Андропову). 28 декабря того же года снова пришли с обыском, а в январе начались вызовы на допросы в КГБ — теперь уже по „делу" Леонида Бородина и по „делу" Зои Крахмальниковой.

Владимов, лишенный возможности печататься на родине и доведенный преследованиями КГБ до края своего терпения, написал рассказ-очерк „Не обращайтесь внимания, маэстро", который и предлагается в этой книге (опубликован в „Гранях"

№ 125). Пишет он этот рассказ практически с натуры, читателю же он кажется сюрреалистическим.

И наконец, не видя иного выхода, Владимов обращается с письмом к генсеку Андропову о разрешении на выезд из России.

СОДЕРЖАНИЕ

Не обращайтесь вниманья, маэстро	5
----------------------------------	---

Приложение

В Президиум IV съезда писателей СССР	61
В Правление Союза писателей СССР	66
Письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову	72
Краткая биография	77

**Отзывы на эту книгу
просим посылать по адресу издательства:**

**Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt a. M. - 80**

